

Том первый

Я познакомился с ней, кажется, в четверг; да, именно в четверг вечером на танцуйках я увидел ее в первый раз. В ту ночь я спал часа два, не больше, и когда утром объявился на работе, выглядел как настоящий сомнамбула. И весь день прошел точно во сне. После ужина не раздеваясь я рухнул на кушетку и проснулся только к шести утра на следующий день. Чувствовал я себя отлично, голова была ясной, и весь я был захвачен одной мыслью: во что бы то ни стало я должен обладать ею. Проходя через парк, я думал, какие цветы послать ей вместе с обещанной книжкой («Уайнсбург, Огайо»¹). Приближалось мое тридцатитрехлетие, возраст Христа Распятого. Совершенно новая жизнь лежала передо мной, хватило бы только смелости рискнуть и поставить все на кон. По правде говоря, рисковать-то было нечем: я торчал на самой нижней ступеньке лестницы, неудачник в полном смысле этого слова.

Но сегодня наступил День Субботний, а суббота всегда была для меня лучшим днем недели. По субботам, когда другие люди измочалены уже до полусмерти, я оживал. Моя неделя начиналась еврейским днем отдохновения. Конечно, я понятия не имел, что эта неделя окажется самой длинной в моей жизни и растянется на семь долгих лет. Я знал только,

¹ Название сборника рассказов Шервуда Андерсона (1876–1941), выпедшего в свет в 1919 г. и сразу поставившего его автора в ряд выдающихся американских писателей XX века. Среди тех, кому Г. Миллер послал свою первую книгу «Тропик Рака», был и Ш. Андерсон. — *Здесь и далее примеч. перев.*

что день мне улыбается и обещает много событий. Сделать решительный шаг, послать все к чертям собачьим, — само по себе означало свержение рабства, обретение свободы, а мысли о последствиях никогда не приходили мне в голову. Полная и безоговорочная капитуляция перед женщиной, которую полюбил, разрывает все узы, освобождает от всех цепей, остается только одно: страх потерять ее, а это-то и может оказаться самой тяжелой цепью.

Я провел утро, выпрашивая в долг то у одного, то у другого, потом разделался с цветами и книгой и засел писать длинное письмо, которому предстояло отправиться с посылным. Я написал, что позвоню ей сегодня же ближе к вечеру. В двенадцать я сбежал из конторы домой. Я страшно нервничал, меня просто колотило от нетерпения. Сушая пытка — торчать дома и ждать пяти часов. Я снова вышел в парк и почти машинально, ничего не замечая, спустился к пруду, где дети пускали кораблики. Какой-то оркестрик наигрывал в отдалении. Все это воскресило в моей памяти детство, тайные мечты, страстные желания, детские обиды и горести. Какой неукротимый, яростный бунт кипел в моих жилах! Я думал о великих людях прошлого, о том, чего им удалось достичь уже в моем возрасте. Но все честолюбивые помыслы, которые могли у меня быть, улетучивались. Теперь я хотел только одного: полностью отдаться в ее руки. Превыше всего на свете хотел я слышать ее голос, знать, что она все еще здесь и что она еще не забыла обо мне. Знать, что в любовью грядущий день я смогу сунуть монетку в прорезь автомата, услышать, как она произнесет «алло» — о, на большее я и не надеялся. Если бы она пообещала мне это, если бы она сдержала обещание — плевать на все, что еще может со мною случиться.

Ровно в пять я набрал ее номер. Незнакомый, равнодушно-унылый голос пробубнил, что ее нет дома, и отключился, не дав мне спросить, когда она вернется. Сознание, что она вне пределов моей досягаемости, чуть не довело меня до бешенства. Я позвонил жене, чтобы она не ждала меня к обеду. Сообщение было принято как обычно: кислый тон словно давал понять, что от меня и не ждут ничего, кроме обманутых

ожиданий и бесконечных опозданий. «Ну и подавись этим, сука, — подумал я, вешая трубку, — по крайней мере я знаю твердо, что мне от тебя ничего не надо — ни от живой, ни от мертвой».

Мимо проходил трамвай. Не интересуясь его маршрутом, я вскочил в вагон и устроился на заднем сиденье. Пару часов катался я по городу и очнулся возле знакомой арабской кофейни, приткнувшейся у самой воды. Я выскочил из трамвая, добрел до набережной и уселся на парапет, созерцая гудящие переплетения Бруклинского моста. Надо было убить несколько часов, пока не придет пора двигаться к танцевальному залу. Пустыми глазами вглядывался я в противоположный берег, и словно корабли, потерявшие руль, плыли безостановочно по течению мои мысли.

Наконец я поднялся и пошел, пошатываясь, как больной под наркозом, ухитрившийся улизнуть с операционного стола. Каждая вещь узнаваема, знакома, но лишена смысла; нужна целая вечность, чтобы как-то скоординировать, соединить вместе несколько простых понятий, которым обычно так легко находилось место: стол, дом, человек. Огромные строения с замолкшими в них автоматами смотрелись тоскливее заброшенных гробниц. Бездействующая машина создает вокруг себя пустоту более глубокую, чем сама смерть. Это были кубы и параллелепипеды пустоты. А я был призрак, странствующий в вакууме. Остановиться, присесть, закурить сигарету или не садиться, не закуривать, думать или не думать, дышать или не дышать — какая разница, все равно. Сдохни прямо тут же — и идущий следом переступит через тебя; пальни из револьвера — и другой человек выстрелит в тебя; завопи что есть мочи, а у него, как ни странно, тоже здоровенная глотка.

Движение сейчас идет с востока на запад, с запада на восток. Через минуту будет север — юг, юг — север. Все совершается механически, в соответствии с правилами, никто никуда не вылезает. Катись, топай туда-сюда, вверх-вниз. Одним — копошиться по-мушиному, другим — семенить по-муравьиному. Жри в стоячках с их кормушками, прорезями для монет, рукоятками, грязными пятицентовиками. Рыгни, поковырай в зубах, напяль шляпу, топай, выбирайся, вали отсюда, усвис-

тывай, мозги твои тебе ни к чему. В следующей жизни я стану стервятником, кормящимся сочной падалью. Я устроюсь на самой макушке высокого здания и буду молнией падать, едва унюхав смерть. А сейчас я насвистываю веселый мотивчик — желудочно-кишечный тракт меня ничуть не беспокоит. *Привет, Мара¹, ну как ты?* А она подарит мне загадочную улыбку и обнимет своими теплыми руками. Все это случится под яростными слепящими прожекторами, и в трех сантиметрах от наших тел ляжет непереступимая черта, очертив магический круг, отделяющий нас от всех прочих.

Поднимаюсь по ступеням и вхожу в большой круглый зал, залитый теплым будуарным свечением, вступаю на арену для адептов героического секса. В сладкой и тянущейся, как жвачка, дымке вальсируют призраки: бедра напряжены, колени чуть согнуты, а все, что ниже, заткано густым сапфирово-синим туманом. В паузах между ударными до меня доносятся откуда-то снизу гудки «скорой помощи», сигналы пожарных машин, полицейские сирены. Вальс, изрешеченный болью, весь в крошечных следах от пуль, насаживается на шестеренки механического пианино, звучащего приглушенно, — ведь оно играет в горящем доме без пожарной лестницы за несколько кварталов отсюда. Ее нет среди танцующих. Может быть, сейчас она лежит в постели и читает книжку, может быть, занимается любовью с чемпионом по боксу, может быть, несется как сумасшедшая по стерне — одна туфля уже слетела с ноги, — а парень по прозвищу Кукурузина вот-вот догонит ее. Но как бы то ни было, я стою в полном мраке. Ее отсутствие затмило для меня белый свет.

Спрашиваю у одной из девиц, не знает ли она, когда появится Мара. *Мара?* Никогда не слышала о такой. Да и откуда ей знать, ей не до того, она работает час, если не больше, она вспотела в десятке своих одежек (и белье-то, наверное,

¹ Имя главной героини трилогии — литературное воплощение второй жены Г. Миллера Джун Смит (Мэнсфилд) — объяснено автором частично в романе «Плексус» ссылкой на Книгу Руфи: Мара значит «горькая». С другой стороны, Миллер, увлекаясь буддизмом, знал о божестве зла Маре, искушавшем Будду. В средневековой европейской демонологии Мара — суккуб, принимающий облик прекрасной женщины.

с начесом) и пахнет, как запаленная кобылка. Может быть, потанцуем? — она спросит тогда у одной девочки насчет этой Мары. Мы совершаем несколько кругов, пахнущих потом и розовой водой, обрамленных разговорами о мозолях, бурситах, варикозных венах. Музыканты плятятся сквозь будуарную дымку студенистыми глазами, и такие же улыбки приклеены к их лицам. Вон она, Флори, она, может, что-то знает о моей подружке. У Флори большой рот, глаза цвета ляпислазури, она здесь прямо с многочасового послеобеденного пообона и безмятежна, как герань. Не знает ли Флори, когда придет Мара? Она не думает... Она думает, что Мара не придет сегодня вообще. *Почему?* Кажется, у нее сегодня встреча с кем-то... Лучше спросить у Грека. Грек знает все.

Грек говорит: «Да, мисс Мара придет... Да, подождите немножко». Я жду. Девицы исходят испариной, как лошади на заснеженном поле. Полночь. Ни малейшего признака Мары. Медленно волочу ноги к выходу. На верхней ступеньке молодой пуэрториканец застегивает ширинку.

В метро для проверки зрения я читаю объявления в другом конце вагона. Я учиняю перекрестный допрос своему организму, чтобы выяснить, насколько свободен я от тех болячек, что обступают со всех сторон человека цивилизованного. Не пахнет ли у меня изо рта? Нет ли перебоев в сердце? Нет ли плоскостопия? Не опухают ли у меня суставы из-за ревматизма? Не беспокоят ли лобные пазухи? А пиорея? А как насчет запоров? Все ли в порядке после ланча? Нет мигрени, нет изжоги, нет катара желудка, нет люмбаго. Ни мозолей, ни бурсита, ни варикозных вен! Насколько я мог разобраться, я здоров как бык, и все же... Чего-то важного не хватает мне. Жизненно важного.

Я болен любовью. Смертельно болен. Какая-нибудь мелочь вроде перхоти — и я сдохну, как отравленная крыса.

Когда я бросаюсь в постель, тело мое словно налито свинцом. Я сразу же погружаюсь в самые глубины сна. Мое тело, превратившееся в саркофаг с каменными ручками, лежит неподвижно, а дух воспаряет и кружит по всей вселенной. Дух тщетно пытается найти форму, облик, в который могла бы во-

плотиться его эфирная сущность. Подобно всевышнему портному, он примеряет то одно, то другое, и все ему не подходит, все нескладно. В конце концов ему приходится возвращаться в свое собственное тело, тяжелое как свинец тело, недвижно лежащее ничком, вмещаться в эту свинцовую изложницу и вечно томиться бесплодной тоской.

Воскресное утро. Я просыпаюсь, свеж как огурчик. Мир лежит передо мною, непокоренный, незамаренный, девственный, как арктические края. Чтобы прогнать последние капли свинцовой тяжести, я принял немного хлористого кальция и висмута. Сейчас я отправлюсь прямо к ней, позвоню в дверь, войду. Вот он я! Бери меня или бей насмерть! Проткни мое сердце, вышиби мозги, вспори легкие, исполосуй кишки, почки, глаза, уши. Если хоть один орган останется нетронутым — ты обречена. Обречена навеки быть моей. И в этой жизни, и в следующей, и во всех мирах, которые еще могут прийти. Я обезумел от любви, я — сниматель скальпов, душегуб. Меня нельзя насытить. Я буду есть волосы, серу из ушей, высушенную кровь, пожирать все, что хоть в какой-то степени ты можешь назвать своим. Покажи мне твоего папашу с его воздушными змеями, скачками, с его ложей в опере — я сожру все это, живьем проглочу. Где твое любимое кресло, твой любимый гребень, твоя пилка для ногтей? Тащи их сюда, я их слопаю одним махом. У тебя есть сестра, она еще красивей тебя, говоришь? Поддай-ка и ее — я обглодаю все мясо с ее костей.

В направлении к океану, к болотистой равнине, выстроен дом, а в нем когда-то снесли яичко, из которого вылупилась некая форма, при крещении нареченная Марой. Как могла крохотная капелька, выскочившая из пениса, добиться такого потрясающего результата? Я верю в это. Верую. Верую в Бога Отца и в Иисуса Христа, Сына Божия, едиnorodного Отцу, и благодатную Деву Марию, в Святого Духа, в Адама Кадмия, в хромированный никель, в окислы хрома и ртутный хром, в водоплавающих птиц и водяные лилии, в эпилептические припадки, в бубонную чуму, в Дэвачан, в парад планет, в каркули, в бейсбольную битку, в революции, в бирже-

вые крахи, в землетрясения, в войны, в циклоны, в Кали-югу и в хула-хулу¹. *Верую. Верую.* Верую, потому что иначе я превращусь в свинцовое тело, лежащее недвижно ничком и обреченное на вечную тоску.

Вот они, современные пейзажи. Где пасущийся скот, желтые нивы, навоз? Где розы, эти цветы, распускающиеся среди тлена? Я вижу стальные рельсы, заправочные станции, цементные блоки, железные балки, торчащие трубы, кладбища автомобилей, фабрики, потогонные конвейеры, склады, пустыри. Хоть бы какая живность попала на глаза! Ясно и отчетливо ощущаю я идущий от всего этого запах скорби, запах смерти, несокрушимой смерти. А сам я вот уже тридцать лет таскаю железный крест унижительного рабства. Я прислуживаю, не веря, работаю, не получая вознаграждения, в часы, назначенные для отдыха, я не ведаю покоя. Почему я решил, что все разом изменится, стоит лишь заполучить ее, любить и быть любимым?

Ничего не изменится. Разве только ты сам.

Я подошел к дому, на заднем дворе развешивала белье женщина. Я видел ее в профиль; конечно, это та самая, со странным акцентом, что говорила со мной по телефону. Нет, не хочу встречаться с этой женщиной, не хочу знать, кто она такая, не хочу убедиться в правильности моих предположе-

¹ Пародия на христианскую молитву «Символ веры». Адам-Кадмон, согласно еврейскому мистическому учению, каббале, — первый сотворенный совершенный человек до грехопадения. Миллер каламбурит, заменяя Кадмон (Kadmon) на название химического элемента кадмия (cadmium).

Дэвачан — эзотерический буддизм (Е. Блавацкая) трактует жизнь после смерти так: душа умершего человека покидает его бренное тело и отправляется в Дэвачан. Дэвачан — это состояние чистого и абсолютного блаженства. Все высшие видоизменения находят в Дэвачане свое дальнейшее развитие.

Кали-юга — четвертая из четырех юг, или эпох, в индуистском временном цикле. Характеризуется падением нравственности, поскольку добро в мире уменьшается до одной четверти от первоначального состояния.

Хула-хула — гавайский народный танец-пантомима на темы туземных преданий.

ний. Я обхожу квартал, и когда возвращаюсь, ее уже нет. Однако и смелости моей поубавилось.

Звонок у меня получился робкий, запинаящийся. Но дверь тут же распахнули решительным рывком, и довольно угрожающего вида детина возник на пороге. Нет, ее нет.

— Когда придет?

— Не могу сказать. А вы кто такой, что вам от нее нужно? Тогда — будьте здоровы! — Я стою перед захлопнутой дверью. Ну, парень, ты еще пожалеешь об этом! Я вернусь однажды с пистолетом и отстрелю тебе кое-что... Значит, так. Все на чеку, все предупреждены, все научены прикидываться незнающими, неведающими. Мисс Мара никогда не бывает там, где ее ждут, и никто не ведает, где ее можно дождаться: она — вулканическая пыль, гонимая пассатами. Ужас гибели и завеса неизвестного впереди, словно в первый день Года Отдохновения¹. Печальное воскресенье среди скопищ язычников, в кучке неожиданно породнившихся между собой людей². Смерть всей христианской сволочи! Нет, смерть фарисейскому статус-кво!

Прошло несколько дней, она не подавала никаких признаков жизни. В кухне, когда оттуда убиралась моя жена, я садился сочинять длиннющие послания к Маре. Мы жили тогда в отвратительно уважаемом районе, занимая цоколь и первый этаж мрачного буро-кирпичного дома. Время от времени я пробовал писать, но уныние, которое моя супруга умела создавать в окружающем пространстве, было для меня чересчур заразным. Только однажды мне посчастливилось на короткий срок разрушить ее злые чары. Это случилось во время жестокой лихорадки, трепавшей меня несколько дней. Я не приглашал доктора, не принимал никаких ле-

¹ Год Отдохновения (the Sabbaticall year). Каждый седьмой год, как и каждый седьмой день недели (суббота), по закону Моисея, считался священным (саббатикальным, от слова «саббат» — суббота). В этот год не возделывались поля, а плоды садовых деревьев становились общим достоянием.

² Печальное воскресенье — антоним Светлому воскресенью. Кучка породнившихся людей, видимо, апостолы среди скопища иудеев, отвергающих проповедь Христа.

карств и отказывался от еды. Я просто лежал наверху, на широкой кровати и кое-как отбивался от наплывов беспамятства, грозившего мне смертью. С детства я никогда не болел, и первый взрослый опыт был восхитителен. Мое продвижение к уборной было подобно замысловатым маневрам корабля в океане. В те немногие дни я прожил несколько жизней. Это были мои единственные каникулы в гробнице, называвшейся домом. Было еще одно терпимое место — кухня. Кухня, сравнительно комфортабельная камера, где я, заключенный, мог просиживать допоздна, обдумывая планы своего побега. Вот только мой приятель Стэнли иногда присоединялся ко мне и своим мрачным карканьем, угрюмым сарказмом ухитрялся лишать меня всякой надежды.

Вот там-то я и написал свои самые сумасшедшие письма. Тот, кто посчитал себя безнадежно погибшим, пусть ободрится моим примером. Царапающее перо, пузырек чернил и бумага были моим единственным оружием. Я изливал на бумагу все, что приходило мне в голову, даже полнейшую чушь. Закончив письмо, я поднимался в спальню и, лежа рядом с женой, всматривался в темноту, стараясь прочесть там свое будущее. Я повторял себе снова и снова, что если человек, искренний и доведенный до отчаяния, человек вроде меня, всей душой любит женщину, если он готов отхватить себе уши и отправить их ей по почте, если он исписывает бумагу кровью своего сердца, если он пропитает эту женщину своей тоской, своей болью, своим стремлением к ней, если он никогда не отступится от нее — ей невозможно будет ему отказать. Самый невзрачный, самый немощный, самый не заслуживающий внимания мужчина должен победить, если он готов пожертвовать всем, всем до последней капли крови. Нет такой женщины, которая способна отвергнуть дар абсолютной любви.

Когда я снова зашел в танцзал, меня ожидала записка. Я вздрогнул, увидев ее почерк. Она писала коротко и точно. Мне назначалось свиданье в эту полночь на Таймс-сквер¹ возле аптеки. И пожалуйста, не надо больше писать ей домой.

¹ Оживленный перекресток Седьмой авеню и 42-й улицы.

Я явился на свиданье, имея в кармане чуть меньше трех долларов. Встретились мы как старые друзья. Никаких упоминаний о моем визите, письмах, подарке.

— Куда пойдём? — спросила она после первых слов.

У меня не было ни малейшего понятия о том, что можно ей предложить. Она предстала передо мной во плоти, стояла рядом, говорила со мной, смотрела на меня, и это было событие, которое я ещё не успел осмыслить. Она пришла на вырубку:

— Давай пойдём к Джимми Келли. — Подхватила меня под руку и подвела к такси, стоявшему у тротуара. Я плюхнулся на сиденье, переполненный ощущением ее присутствия. Я не поцеловал ее, даже не взял за руку. Она пришла — вот главное! В этом заключалось все.

Мы просидели до начала утра, выпивая, закусывая, танцуя. Нам было хорошо, мы понимали друг друга. Правда, о ней, о ее подлинной жизни я узнал не больше, чем знал раньше, не потому, что она что-то скрывала от меня, просто настоящее было таким полным, что для прошлого и будущего места не оставалось.

Принесли счет — и меня как обухом ударило.

Чтобы потянуть время, я распорядился о дополнительной выпивке. Когда я признался, что у меня всего пара долларов, она сказала, чтобы я дал им чек. Пока она со мной, проблем с его оплатой не возникнет. Пришлось открыть ей, что и чековой книжки у меня нет, что у меня вообще нет ничего, кроме моего жалованья. Словом, я внес в этот вопрос полную ясность.

Пока я признавался ей в этом ужасе, у меня созрела спасительная идея. Я извинился и поспешил к телефонной будке. Позвонил в управление компании, ночной дежурный был моим приятелем. Я взмолился, чтобы он немедленно прислал с посыльным пятьдесят долларов. Выложить такую сумму было для него непросто, и он знал, что я не самое надежное вложение капитала, но я выдал ему душераздирающую историю и побожился, что все верну в тот же день.

Посыльным оказался другой мой приятель, старина Крейтон, экс-проповедник у евангелистов. Как же он удивился,

увидев меня в таком месте и в такой час! Пока я писал расписку, он вполголоса спросил, уверен ли я, что обойдусь полусотней.

— Я могу одолжить тебе из своих денег, — добавил он, — буду только рад выручить тебя.

— А сколько тебе не жалко? — спросил я, размышляя о предстоящей мне поутру работенке.

— Могу добавить еще четвертак, — обрадовал он меня.

Я горячо поблагодарил старину Крейтона и одолжился у него. Оплатил счет, щедро дал официанту на чай, обменялся рукопожатиями с управляющим, с помощником управляющего, с вышибалой, с девчонкой в гардеробе, со швейцаром, с нищим, у которого не хватало одной кисти.

Мы влезли в такси, и пока машина делала круг, Мара решительно взобралась на меня и крепко оседлала. Началась отчаянная схватка, машину трясло и раскачивало, зубы наши скрипели, языки жалили друг друга, и сок из нее бежал, как кипящий суп из кастрюли. Когда мы оказались на пустой площади на том берегу реки, было уже совсем светло; я поймал цепкий взгляд копа, мимо которого мы только что проехали.

— Уже светло, Мара, — сказал я, пытаюсь потихоньку освободиться.

— Подожди, подожди! — взмолилась она, тяжело дыша, крепко вцепившись в меня и не отпуская. И здесь у нее начался оргазм такой продолжительности, что я испугался, как бы она не содрала всю шкурку с моего члена. Наконец она сползла с меня и забилась в угол, а подол ее все еще был задран выше колен. Я потянулся к ней обнять ее снова, и рука моя очутилась в ее взмокшей щели. Она тут же пиявкой присосалась ко мне и завертела как бешеная своим скользким задом. По моим пальцам заструился горячий сок. Я шуровал в мокрых зарослях всеми четырьмя пущенными в дело пальцами, и они вздрагивали от электрических разрядов, сотрясавших ее тело. Она кончила два, а то и три раза и наконец откинулась назад, глядя на меня усталым взглядом измученной самки.

Потом встряхнулась, достала зеркальце и принялась пудрить нос. Внезапно я заметил, как странно переменялось выражение ее лица. Она повернулась на сиденье, прильнула к заднему окошку.

— Кто-то гонится за нами, — проговорила она, — не оглядывайся!

Я был слишком утомлен и слишком счастлив, чтобы это задело мое сознание. Я ничего не сказал и только подумал мимоходом: «Ну вот, теперь немного истерики». Но вскоре я уже внимательно следил, как она бросала шоферу короткие приказания: свернуть туда, повернуть сюда и, главное, прибавить скорость.

— Давай же, давай, — задыхалась она, словно дело шло о жизни и смерти.

— Я не могу, леди, — услышал я словно издали, как сквозь сон, голос таксиста. — Быстрее я не могу... У меня жена, дети... Прошу прощения...

Я мягко взял ее за руку, но она вырвала ее у меня, приговаривая:

— Ты не знаешь... ты не знаешь, это ужас.

Я понимал, что сейчас не время дотошных расспросов. И вдруг я почувствовал, что мы — да! — находимся в опасности. Вдруг, как дважды два четыре, все сложилось у меня в голове. «Так... никто за нами, конечно, не гонится, — быстро соображал я, — это все кокаин и опиум... Но кто-то ее преследует... это точно... она замешана в преступлении... в тяжком преступлении... а может, и не в одном... я же о ней ничего не знаю... ну и влип же я... любовница оказалась чудовищем... самым настоящим чудовищем... страшней не придумаешь... надо от нее бежать... немедленно... без всяких объяснений... иначе мне конец... она таинственна, непостижима... надо же — единственная женщина, без которой жить не могу, отмечена какой-то жуткой тайной... давай смываться... выпрыгивай... спасайся...»

И тут я почувствовал, как на мое колено легла ее рука. Лицо ее было спокойно, и широко раскрытые глаза сияли чистотой.

— Их больше нет, — сказала она. — Теперь все в порядке.

«Ничего не в порядке, — подумал я, — все только начинается. Мара, Мара, куда ты меня тащишь? Что-то недоброе, роковое есть в этом, но я принадлежу тебе душой и телом, и ты можешь увести меня куда хочешь, отдать под надзор, избитого, смятого, изломанного. И все-таки понять друг друга до конца мы не можем, и земля уходит у меня из-под ног».

Мои мысли... У нее никогда не было способности проникнуть в них, ни тогда, ни позже: она копала куда глубже, она улавливала нечто более сокровенное, словно была снабжена антенной. Она улавливала, что я настроен на разрушение, и знала, что в конце концов я уничтожу ее. Она знала, что в какую бы игру ни вздумала со мной играть, встретит равного соперника. Мы подъехали к ее дому. Она придвинулась ближе, внутри у нее был какой-то переключатель, которым она распоряжалась как хотела, и теперь она повернулась ко мне, включив свою любовь на полную мощность. Таксист застыл за рулем. Она велела ему отъехать подальше от дома и там подождать. Мы стояли с ней, обратив друг к другу лица, сцепив руки, соприкасаясь коленями, и огонь бежал по нашим жилам. Мы замерли, словно в какой-то освященной веками церемонии, и оставались так несколько минут; вокруг была тишина и только неподалеку урчал мотор.

— Я позвоню тебе завтра, — сказала она, прижимаясь ко мне в прощальном объятии. И потом прошептала в самое ухо: — Я влюбилась в самого удивительного человека на свете. Мне с тобой страшно... ты такой нежный... обними меня крепче... всегда верь мне... мне кажется, сегодня я была с Богом.

Я обнимал ее, вбирал в себя ее тепло, а разум мой вдруг вырвался из этих объятий, словно крохотное семечко, которое она в меня заронила, взорвало его. Что-то такое, что было во мне сковано, что с самого детства тщетно стремилось самоутвердиться, то, что гнало мое эго на улицу оглядеться, теперь сбросило цепи и как ракета устремилось в небо. Какая-то феноменально новая жизнь с пугающей быстротой росла во мне, чуть ли не пробивая мне голову, голову с двумя макушками, приносящими, как говорят, счастье.

Отдохнул я всего лишь часа два, а потом пришлось отправляться на службу, где было полным-полно посетителей и беспрестанно трезвонили телефоны. Но еще более, чем всегда, мне показалось бессмысленным проживать жизнь в бесплодных попытках заткнуть непрекращающуюся течь. Чиновники Космококковой телеграфной компании давно уже потеряли всякую веру в меня, а мне было плевать на их мир со всеми этими кабелями, беспроводной и проволочной связью, звонками и бог знает, что там еще у них было. Единственное, чем я там интересовался, так это платежными чеками и разговорами о премиальных, которые могли выплатить в любой день. Был, правда, еще один интерес, тайный, сатанинский: как разделаться со Спиваком, экспертом по рационализации, думаю, они специально выписали его из другого города, чтобы шпионить за мной. Как только Спивак появлялся на сцене, неважно где, пусть в самом удаленном от меня отделе, меня тут же предупреждали. Случалось, я всю ночь не смыкал глаз, обдумывая, как обдумывает взломщик свой предстоящий визит к банковскому сейфу, лучший способ зацепить Спивака и подвести его под увольнение. Я дал себе клятву, что не уйду с этой работы, пока не прикончу его. Огромным удовольствием было передавать для него открытки от вымышленных лиц, полные таких тонких намеков на толстые обстоятельства, что он краснел, смущался и выглядел дураком. У меня были люди, писавшие Спиваку письма с угрозами. Керли, своего главного подручного в этом деле, я приспособил время от времени звонить и сообщать Спиваку, что у того дома пожар или что его жена попала в больницу, — что-нибудь такое, чтобы он переполошился и выкинул какую-нибудь глупость. У меня был особый дар на всякие тайные военные действия. Талант мой проявился еще в дни моего портняжничества у отца¹. Всякий раз, когда отец говорил мне: «Лучше вычеркни его из книги, он все равно сполна не рассчитается», — я воспринимал это, как будто бы мне,

¹ Отец писателя был владельцем ателье мужского платья в Бруклине, в котором какое-то время работал подмастерьем Миллер-младший.

молодому индейскому воину, старый вождь вручает пленника и говорит: «Плохой бледнолицый. Займись-ка им как следует». Допечь человека я мог тысячью разных способов, не марая себя прикосновением к закону. От некоторых должников, которые были мне сами по себе противны, я не отставал и после того, как долг оказывался выплачен до последнего цента. Один даже умер от удара, получив от меня анонимное письмо, сдобренное дерьмом кошачьим, птичьим, собачьим и парой других специй, включая и широко известный человеческий ингредиент. Разумеется, Спивак был обречен стать моей добычей. Все свое космококковое внимание я сосредоточил лишь на одном: плане его уничтожения. При встрече с ним я был неизменно любезен, почтителен, выказывал на каждом шагу готовность к сотрудничеству, так и рвался поработать совместно. При нем я никогда не давал воли своему темпераменту, хотя от каждого произнесенного Спиваком слова кровь во мне закипала. Я пользовался всякой возможностью лелеять его гордыню, накачивал этот пузырь, его эго, чтобы, когда придет пора проткнуть его, он лопнул бы с таким треском, что слышно будет повсюду.

Ближе к полудню позвонила Мара. Не меньше четверти часа говорили мы с ней, я подумал было, что она никогда не повесит трубку. Она сказала, что перечитывала мои письма. Некоторые, вернее отрывки из них, читала своей тетке вслух. Тетка решила, что я, должно быть, поэт. Еще Мара сказала, что очень беспокоится, смогу ли я расплатиться с долгом. Если у меня трудности, она даст мне денег. Странно, что я оказался бедным, я произвел на нее впечатление богатого. Но она довольна тем, что я беден. В следующий раз мы поедем куда-нибудь на трамвае. И ночные клубы ее ничуть не привлекают. Куда лучше загородные прогулки или путешествие по пляжам. А книга чудесная, она как раз сегодня утром начала ее читать. Почему я сам не пробую писать? Она уверена, что я смогу написать великую книгу. У нее есть один замысел, она расскажет мне о нем при встрече. Если захочу, она познакомит меня кое с кем из писателей, они будут только рады помочь мне.

И так она щебетала без умолку. Я был приятно взволнован и в то же время раздосадован. Лучше бы ей изложить все это на бумаге. Но она мне сказала, что почти никогда не пишет писем. Я не мог понять почему, ведь у нее был великолепный стиль. Она могла сымпровизировать запутанную, замысловатую фразу и плавно выскользнуть из нее в боковую дверь, во вставное отступление, приперченное зернами блестящего остроумия; ей походя давались изыски словесности, на что профессиональному литератору требуется несколько часов напряженных поисков. Но ее письма — до сих пор вспоминаю мое потрясение, когда я читал первое из них, — были беспомощным лепетом ребенка.

Ее слова, однако, произвели неожиданный эффект. Вместо того чтобы по обыкновению сбежать сразу после ужина из дома, я улегся в темноте на кушетку и погрузился в глубокое раздумье. «*Почему ты не пробуешь писать?*» Эта фраза весь день сидела во мне, и я повторял ее даже тогда, когда благодарил моего друга Макгрегора за полученную от него в результате унижайнейших пресмыкательств и умасливания десятку.

Лежа в темноте, я начал докапываться до самой сути. Я начал размышлять о лучших днях моего детства, долгих солнечных днях, когда, взяв за руку, мать вела меня в поле к моим друзьям, к Джоуи и Тони. Ребенок не в состоянии проникнуть в секрет особой радости, вытекавшей из чувства превосходства. Я даже не знаю, как назвать то, что позволяет человеку быть горячо вовлеченным в какое-либо действие и одновременно внимательно наблюдать за ним со стороны. Тогда мне представлялось это нормальным состоянием любого человека, я не осознавал, что мое удовольствие, мои ощущения были гораздо острее ощущений моих сверстников. Понимание этого пришло позже, когда я вырос.

Писание, — продолжал я свои медитации, — должно быть актом произвольным. Подобно глубинным океанским течениям, слово поднимается на поверхность по своим собственным импульсам. У ребенка нет нужды в писании — он безгрешен. Взрослый пишет, чтобы очиститься от яда, накопившегося в нем за годы несправедливой жизни. Он пытается

вернуть свою чистоту, а добивается лишь того, что прививает миру вирус разочарованности. Никто не напишет ни слова, если у него хватает смелости поверить в то, что он живет в правильном мире и живет так, как, по его мнению, следует жить. Вдохновение с самого начала направлено тогда в другую сторону. Если мир, который ты хочешь создать, — мир истины, красоты, магического очарования, зачем возводить тысячи слов между собой и этим миром? Если желанны тебе лишь могущество, слава, успех, достижимые в этом мире, зачем медлить с действием? «Книги — гробницы человеческих деяний», — говорил Бальзак. И сам, осознав эту истину, заставил своего ангела уступить демону, обуревавшему его.

Писатель дурачит свою публику столь же омерзительно, как проделывает это политик или любой другой шарлатан: он любит подолгу щупать пульс, прописывать лекарства, словно врач, он пыжится вовсю, чтобы его признали авторитетом, чтобы на него излилась полная чаша хвалы, даже если это изливание будет отложено на сотни лет. Ему не нужно, чтобы немедленно возник и устроился новый мир; он знает, что окажется чужаком в этом мире. Он хочет мира невозможного, где он, некоронованный властитель кукол, управлял бы марионетками, сам подчиняясь силам, совершенно от него не зависящим, стоящим вне его контроля. Он согласен править незаметно, исподтишка, в фиктивном мире символов, потому что мысль о столкновении с жестокой и грубой реальностью пугает его. Правда, он может схватить и встряхнуть реальность покрепче любого другого, но он не прилагает ни малейших усилий, чтобы явить миру на своем собственном примере эту новую высшую реальность. Вместо этого он предпочитает плестись в хвосте потрясений и катастроф, поучать, читать проповеди; он удовлетворяется ролью мрачно каркающего пророка, которого постоянно встречают камнями, которого брезгливо сторонятся те, кто, не имея на то решительно никаких оснований, берут на себя ответственность за весь мир. Истинно крупный писатель не так уж и хочет писать. Ему хочется лишь, чтобы мир стал местом, где можно было бы жить жизнью воображения. Первое слово, которое он с дрожью доверяет бумаге, это слово раненого ангела: «Боль».

Переносить слова на бумагу — все равно что накачивать себя наркотиками. Видя, как разбухает у него на столе рукопись, автор и сам надувается бредом величия: «Вот я и стал завоевателем. Может быть, самым могущественным завоевателем. Наступает мой день. Я покорю мир магией моих слов...» *Et cetera ad nauseam*¹.

Коротенькая фраза — «Почему ты не пробуешь писать?» — с самого начала сбила меня с толку, затянула, как в топь непролазную. Я-то хотел не завоевывать, а зачаровать; я хотел, чтобы моя жизнь стала шире, богаче, но не за счет других; я хотел дать полную волю человеческому воображению, расковать его, но только для всех разом, потому что без общей вовлеченности в художественно объединенный мир свобода воображения становится пороком. Никакого почтения не испытывал я ни к писательству *per se*², ни даже к понятию Бога *per se*. Ничто на свете — ни принцип, ни идея — не действенно само по себе. Они, включая и идею Бога, работают лишь тогда, когда осознаны всем сообществом людей. Многих волнует судьба гения. Я же за гениев не беспокоился — гений сам о себе позаботится. Меня всегда привлекал человек, затерявшийся в общей сутолоке, настолько обыденный человек, что его присутствия даже не замечаешь. Гениальный человек не вдохновляет другого гениального человека. Все гении, так сказать, кровопийцы. Эти пиявки кормятся из одного источника, сосут кровь жизни. Для гения самое важное — сделаться никчемным, раствориться в общем потоке, снова стать незаметной рыбкой, а не чудом морским. Единственным благом, которое принесет мне писательство, рассуждал я, станет возможность стереть различие между собой и моим ближним. Я никак не хотел бы стать таким художником, который считает себя существом избранным, стоящим вне и над течением жизни.

А лучшее в писательстве — вовсе не работа сама по себе, не укладка слова к слову, кирпичика к кирпичику. Лучшее — это приготовления, кропотливый черновой труд, совершающийся в тишине, в любом состоянии, спишь ты или бодр-

¹ И так далее, до тошноты (*лат.*).

² Для себя (*лат.*).

ствуешь. Словом, самое лучшее — период вынашивания плода. Никто еще не записывает того, что собирается высказать. Пока это лишь доисторический поток, в глубине которого (не имеет значения, пишешь ты или не пишешь) постоянно идет созидание. Там нет еще ни размеров, ни формы, ни элементов времени. В этой первоначальной, первобытной стадии, которая есть только собирание, а не воплощение, годится все, даже то, что скрывается с глаз, казалось бы, исчезает — не гибнет; что-то, что там было изначально, нечто нетленное, подобно памяти, или материи, или Богу, всегда идет в дело и несется в общем потоке, словно тростинка, брошенная по течению. Словечко, фраза, мысль, не важно, насколько она пронизательна и тонка, безумные полеты поэтической фантазии, самые потаенные грезы, самые причудливые галлюцинации — это только грубые иероглифы, которые обрабатывают, прорисовывают в трудах и мучениях, чтобы попробовать передать непередаваемое. В мире разумно организованном не может быть нужды в этих безумных попытках запечатлеть свершающееся чудодейственное таинство. В самом деле, какой смысл человеку пользоваться копией, если оригинал может быть в его полном распоряжении в любую минуту? Кто захочет слушать, к примеру, Бетховена, если он сам, на собственном опыте может постигнуть ту великую гармонию, которую Бетховен тщетно пытался заковать в нотные знаки? Великое произведение искусства, если оно завершено в какой-то мере, призвано напоминать нам или, скажем так, погружать нас в грезы о чем-то текучем, неосязаемом. Это то, что называют *универсумом*. Это не постигается разумом, это можно либо принять, либо отвергнуть. Если мы приняли — в нас вдохнули новую жизнь. Если отвергли — мы хиреем. Что бы под этим ни подразумевалось, оно неуловимо; оно настолько огромно, что о нем никогда нельзя сказать последнего слова. Это наше стремление к тому, что мы каждый день отвергаем. Если бы мы воспринимали *себя* как единое целое, как произведение искусства, *то весь мир искусства* умер бы от истощения. Любой из нас, всякий Джек-простофиля способен хотя бы по несколько часов в сутки передвигаться в пространстве, не делая ни шагу, с сомкнутыми веками

ми и с недвижно распластанным телом. Способность мечтать наяву, сновидения в состоянии бодрствования когда-нибудь станут доступными каждому человеку. И задолго до этого книги перестанут существовать, потому что когда неспящие люди увидят сны, их связь друг с другом (и с духом, движущим всеми людьми) усилится настолько, что всякое письмо в сравнении с этим молчаливым общением покажется бессмысленным клекотом идиота.

И вот я думаю и додумываюсь до всего этого, оставаясь среди смутных воспоминаний о тех летних днях, не приступая, даже не делая слабых попыток разобраться в грубых, невнятных иероглифах. А какой в этом смысл, если я заранее испытываю сильнейшее отвращение к усилиям признанных мастеров? Да, не имея ни способностей, ни знаний, чтобы создать такую вещь, как портал величественного строения, я принимаюсь критиковать и осуждать архитектуру вообще. Я был бы безгранично счастливее, ощути я себя хоть крохотным камушком в громадном храме; я жил бы жизнью всей этой махины, будучи всего лишь бесконечно малой частицей ее. Но я остаюсь снаружи, вне; я — дикарь, которому не по силам даже грубый набросок. Что уж тут говорить о плане здания, где он мечтает поселиться. А я мечтаю и вижу новый, озаренный сиянием великолепный мир, который рушится, как только кто-то включает свет. Он исчезает, но не уходит безвозвратно, и он появится вновь, когда я буду лежать в темноте и всматриваться во мрак широко раскрытыми глазами.

Мир этот — во мне; он совершенно не похож на другие знакомые мне миры. Никак не думаю, что он моя личная собственность, — это просто мой личный угол зрения, и в этом смысле он единственный в своем роде. Но начнешь высказываться на таком единственном в своем роде языке — и никто не поймет тебя: великое сооружение останется неувиденным. Эти мысли кружили во мне: что толку строить храм, которого никто не увидит?

Поток уносит меня — и все из-за одной пустяковой фразы. И так всякий раз после слова «писать».

Время от времени я пробовал писать и за десять лет таких попыток надергал миллион, или около того, слов. Они как

трава лезли из-под земли. Но было бы унинительно показывать кому-либо эту неряшливую лужайку. Все мои приятели, однако, знали, что я страдаю писательским зудом. Зуд — вот что позволяло мне время от времени оказываться в хорошей компании. Например, Эд Гаварни — он учился на католического священника — собирал у себя маленькое общество специально ради меня, так что я мог почесываться публично, и таким образом вечеринка приобретала значение некоего художественного факта. Доказывая свой интерес к высокому искусству, Эд более или менее регулярно заглядывал ко мне то с пакетом сэндвичей, то с яблоками, то с бутылками пива. А иногда он приносил и коробку сигар, так что я ублажал не только свою утробу, но и легкие.

...Имелся еще и Забровский, первоклассный оператор из «Космодемоник телеграф компани оф Норт Америка». Этот всегда экзаменовал мой гардероб: туфли, шляпу, пальто; он следил за тем, чтобы они соответствовали стилю. У Забровского не было времени на чтение, не заботило его и то, что я читаю ему, вряд ли он верил, что у меня что-то получится, но он любил слушать об этом. По-настоящему интересовали его только жеребцы и скачки, особенно скачки в грязи. А слушать меня для него было безобидным развлечением, не дороже хорошего ланча или новой шляпы. Я охотно рассказывал ему всякие истории, хотя это было все равно что разговаривать со свалившимся с Луны. Самое тонкое лирическое отступление он мог прервать вопросом, что бы я предпочел на десерт: клубничный пирог или сладкий сыр.

...Был и Костиган, разбойник из Йорквилля, еще один надежный столп, чувствительный, как старый боров. Когда-то он свел знакомство с писателем из «Полицейской газеты» и с тех пор стремился к избранному обществу. В данном случае истории рассказывал он, и некоторые из них можно было бы неплохо продать, захоти я спуститься на землю со своих высот. Костиган, как ни странно, привлекал меня. Он, со своей и впрямь похожей на свинной пяточок физиономией, выглядел вялым, каким-то безразличным ко всему. У него были такие мягкие, вкрадчивые манеры, что его можно было принять за переодетую женщину, и невозможно было предста-

вить, что ему ничего не стоит двинуть какого-нибудь парня об стену и выпшибить из него мозги. Это был крепкий орешек, который умел петь фальцетом и мог обеспечить продажу крупной партии погребальных венков. В телеграфной компании его ценили как скромного, надежного служащего, для которого интересы компании были его собственными, но вне службы это был сущий ужас, гроза всей округи. У него была жена, которую в девичестве звали Тилли Юпитер, очень походившая на крепкий кактусовый росток: ткнешь — и потечет густое жирное молоко. Вечер, проведенный с этой парочкой, затачивал мой разум, словно отравленную стрелу.

Я мог бы насчитать с полсотни друзей и сочувствующих. Из этого числа лишь трое или четверо имели хотя бы слабое представление о том, что я пытаюсь делать. Один из таких, композитор Ларри Хант, жил в маленьком городишке в Миннесоте. Как-то мы сдали ему одну из наших комнат, и он влюбился в мою жену — по причине моего безобразного с ней обращения. Но я понравился ему не меньше, и, вернувшись в свою дыру, он завел со мной переписку, ставшую вскоре довольно оживленной. Однажды он мимоходом сообщил, что собирается приехать в Нью-Йорк с кратким визитом. Я надеялся, что он приедет, чтобы вырвать мою супругу из моих когтей. За несколько лет до этого, когда наша неудавшаяся совместная жизнь только начиналась, я уже пытался сбить ее с рук давнему воздыхателю, парню из какого-то северного штата. Звали его Рональд, и он приехал в Нью-Йорк просить ее руки и сердца. Я употребляю это высокопарное выражение, потому что Рональд принадлежал к тому типу людей, которые произносят подобные фразы и не выглядят при этом полными дураками. Мы познакомились и все втроем обедали во французском ресторане. По тому, как он общался с Мод, я увидел, что он относится к ней куда заботливее, чем я, что он вообще ей больше подходит. Рональд очень мне понравился: он был подтянут, доброжелателен и внимателен, ясно было, что он до мозга костей порядочный человек; словом, он был именно тем, что называют хорошим мужем. Кроме того, он так долго ждал ее, о чем она с таким никудышным сукиным сыном вроде меня, от которого нечего ждать

добра, слегка подзабыла. В тот вечер я совершил дикий поступок, и уж этого-то она никогда не забывала. Вместо того чтобы вернуться домой, я отправился в гостиницу с ее старым поклонником. Я просидел у Рональда в номере всю ночь, стараясь убедить его, что он будет лучшим мужем; рассказывал о том, какие ужасные вещи я проделывал с нею и с другими. Я упрасивал, умолял забрать от меня Мод. Я пошел еще дальше: сказал Рональду, что она любит его, что она сама призналась мне в этом.

— Она оказалась со мною, — говорил я, — только потому, что я все время крутился рядом. А сейчас она ждет, чтобы вы что-нибудь предприняли. Не упускайте шанс!

Но он и слушать об этом не хотел. Мы были с ним, как Гастон и Альфонс¹ со странички юмора. Смешно, ужасно патетично и неправдоподобно. А ведь именно такое и показывают в кино, и люди платят деньги, чтобы посмотреть на это.

Во всяком случае, готовясь к визиту Ларри, я понимал, что повторять подобную сцену не стану. Вот только, пока суд да дело, не нашел бы он какую-нибудь другую женщину. Этого я никогда бы ему не простил.

И было одно место (единственное в Нью-Йорке), куда я приходил с особенной радостью, если, конечно, бывал в приподнятом настроении, — аптаунская студия моего друга Ульрика². Ульрик был знатный блудодей. Благодаря своей профессии он общался с девицами из стриптиза, поблядушками и вообще со всякого рода бабенками, свихнувшимися на сексе. Ослепительные длинноногие лебеди вливали в студию Ульрика, чтобы раздеваться перед ним, но я предпочитал цветных девушек. Ульрик их отмечал тоже и постоянно находил новых. До чего же нелегкой работой было объяснять им, какая нам требуется поза. Еще труднее было уговорить

¹ Альфонс и Гастон — персонажи серии комиксов Ф. Б. Оппера, впервые появившиеся в 1901 г. в газете «Нью-Йорк джорнел», двое французов, отличавшихся исключительной вежливостью и все время уступающих друг другу.

² Очевидно, речь идет о давнем друге Г. Миллера, нью-йоркском художнике Эмиле Шнеллоке. В 1930 г. Миллер отплыл в Европу с десятью долларами, ссуженными ему Шнеллоком. Аптаун («верхний город») — северная часть Манхэттена.

их закинуть ногу на ручку кресла и выставить напоказ свою оранжево-розоватую зверушку. А Ульрик был полон распутных замыслов: он постоянно прикидывал, как бы ему сунуть куда-нибудь свой конец, раз он его уже приготовил. Для него это и был способ выплеснуть из своего сознания всю ту хреновину, которую он подрядился изображать, — ему что-то платили за красивое изображение консервированного супа или початка кукурузы на последней обложке журнала. А ему на самом деле хотелось писать только одно: пизды. Сочные, живые пизды, которые можно приклеить к стене в туалете, чтобы, любуясь ими, испражняться с еще большим удовольствием. Он бы согласился делать это почти даром: за кормежку и какую-то мелочь на карманные расходы. Я уже упоминал раньше о его пристрастии к черному мясу. Когда он ставил чернокожую модель в очередную диковинную позу — наклониться за упавшей шпилькой или взобраться на стремянку, чтобы оттереть пятно на потолке, — мне вручали блокнот и карандаш, указывали наиболее выгодную точку, и, прикидываясь художником, рисующим обнаженную натуру (а это лежало за пределами моих возможностей), я ублажал себя зрелищем различных анатомических подробностей, рисуя в блокноте то птичку в клетке, то шахматную доску, а то и просто чиркая галочки.

После краткого отдыха мы тщательнейшим образом помогли модели восстановить первоначальное положение. Необходимое и довольно деликатное маневрирование: опустить или приподнять ягодицы, чуть повыше задрать ноги и чуть пошире раздвинуть их. Прodelьвал это Ульрик очень ловко.

— Думаю, вот так будет хорошо, Люси, — доносится до меня его голос во время очередной манипуляции. — Вы сможете теперь продержаться, Люси?

Замерев в похабной позе, Люси типично по-негритянски поскуливает, что означает, очевидно, полную боевую готовность.

— Долго мы вас не задержим, — успокаивает Ульрик и едва заметно подмигивает мне. — Выполняем продольную вагинацию, — торжественно провозглашает он, поворачиваясь в мою сторону.

У Люси ушки на макушке, но такой жаргон ей непонятен. Слова вроде «вагинация» для нее как влекущий, таинственный дин-дон колоколов. Я встретил ее с Ульриком как-то на улице и услышал ее вопрос: «А сегодня мы будем делать вагинацию, мистер Ульрик?»

Из всех моих приятелей больше всего у меня общего с Ульриком. Он представлял для меня Европу, ее смягчающее, цивилизующее влияние. Мы могли часами говорить с ним об этом мире, где искусство кое-что значит в жизни, где можно преспокойно усестся в самом людном месте и, глядя на проплывающую мимо жизнь, думать о своем. Отправлюсь ли я куда-нибудь? Не слишком ли уже поздно? Как мне там жить? На каком языке разговаривать? Когда я всерьез задумывался об этом, все казалось мне безнадежным. Только отважный, с жилкой авантюриста человек мог бы осуществить эту мечту. Ульрик сделал это — но всего на год и ценой тяжелой жертвы. Десять лет ненавистной работы ради того, чтобы сбылись его сны. Теперь сны кончились, и он вернулся туда, откуда начинал. По сути, он был отброшен еще дальше: теперь ему еще труднее примириться с осточертевшей поденщиной. Для Ульрика то был саббатикальный год¹, но теперь отпуск кончился, мечта обернулась полынью и горечью, а годы прошли.

Поступить так, как поступил Ульрик, я никогда не смогу. Мне никогда не удастся принести такую жертву, не помогут и каникулы, какими бы долгими они ни оказались. Моя политика — сжигать мосты и смотреть лишь в будущее. Если я ошибаюсь, то всерьез. Если споткнусь, то падаю на самое дно пропасти, пролетаю весь путь до конца. Единственное, что меня выручает, — моя живучая упругость. Мне всегда до сих пор удавалось отскакивать. Как мячику. Правда, иногда отскок похож на съемку в замедленном темпе, но перед Всевышним скорость не имеет особого значения.

В квартире Ульрика не так уж давно я и закончил свою первую книгу — книгу о двенадцати посыльных. Я работал в комнате его брата, и там же, чуть раньше, некий издатель

¹ Раз в семь лет американским университетским преподавателям предоставляется отпуск (до года).

журнала, пробежав несколько страниц еще не оконченной повести, небрежным тоном излагал мне, что у меня нет ни крупицы таланта, что я не знаю самых элементарных вещей в писательстве, короче, я — настоящий графоман, и мне остается только забыть обо всем этом и начать зарабатывать честным трудом. И еще один придурок, который написал книжку об Иисусе-плотнике, вскоре пошедшую нарасхват, сказал почти то же самое.

— Да кто они такие, эти говнюки? — спрашивал я Ульрика. — Откуда они вылезли со своими поучениями? Что у них вообще за душой, кроме умения делать деньги?

Ну ладно, ведь я рассказывал о Джоуи и Тони, моих детских друзьях. Я лежал в темноте, маленькая веточка, брошенная в поток Японского течения¹. Я возвращался к простодушной абракадабре, соломинка, запеченная в кирпич, грубый набросок, храм, которому предстоит воплотиться и явить себя миру. Я вставал, включал свет, мягкий, рассеянный. Мне было чисто и светло, словно раскрывшемуся лотосу. Я не метался из угла в угол, не вцеплялся себе в волосы. Я медленно опускался на стул возле стола, брал карандаш и начинал писать. Самыми простыми словами описывал я тепло, идущее от материнской руки, когда мать ведет тебя в залитые солнцем поля; описывал свой восторг при виде бегущих навстречу мне, раскинув руки, Джоуи и Тони и их лица, сияющие радостью. Точно заправский каменщик укладывал я кирпич за кирпичом. Получалось нечто вертикальное, не травинки, лезущие из-под земли, а что-то конструктивное, спланированное. Я не торопился поскорее закончить. Я останавливался не раньше, чем видел, что сказал все, что мог. Потом не спеша перечитывал написанное от начала до конца, и слезы выступали у меня на глазах. Такое не показывают издателю. Такое прячут в ящик, хранят, как детский локон, как первый выпавший молочный зуб, берегут, словно залог выполнения обещанного.

¹ Японское течение — теплое течение у южных и восточных берегов Японии в Тихом океане. Курсио переносит теплые и соленые воды Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей в более северные широты, значительно смягчая их климат.

Каждый день мы убиваем в себе лучшие порывы. Вот откуда наша душевная боль, когда строки, написанные рукою мастера, воспринимаются нами как наши собственные; это о нас, о слабых ростках, затоптанных из-за неверия в собственные силы, в свои мерки добра и красоты. Любой из нас, если он отречется от суеты, если он будет беспощадно честен с самим собой, способен выразить самую проникновенную правду. Все мы — ветви одного ствола. Нет ничего таинственного в происхождении вещей. Все мы — часть сотворенного, все мы — короли, все мы — поэты, все — музыканты. Надо только открыть и выпустить на волю то, что заключено в тебе с самого начала.

Происходящее со мною, когда я пишу о Джоуи и Тони, равносильно откровению. Мне открывается, что я могу сказать все, что хочу сказать, если ни о чем другом не стану думать, если сосредоточусь только на одном и если я готов примириться с последствиями, которые неизбежно влечет за собой всякое чистое деяние.

Через два-три дня я впервые встретился с Марой при дневном свете. Я ждал ее на Лонг-Айлендской станции в Бруклине. Было шесть пополудни по летнему времени, чудесный, озаренный солнцем час, способный преобразить даже такой мрачный склеп, как зал ожидания Лонг-Айлендской железной дороги. Стоя возле дверей, я увидел, как Мара пересекает рельсы под эстакадой надземки; в тот час даже это отвратительное сооружение было заботливо присыпано солнечно-золотистой пудрой. На Маре было платье в крапинку, чуть полнившее и без того пышную фигуру. Бриз игриво бросал пряди глянцево-черных волос в ее тяжелое, очень белое лицо, и она смахивала их, как смахивают капли. Я смотрел, как она идет стремительным, упругим, широким шагом, такая уверенная и в то же время настороженная, и мне виделось исполненное естественной грации и красоты животное, ступающее сквозь раздвигающийся кустарник. Этот день был ее, он принадлежал этому цветущему, здоровому созданию, одетому с совершенной простотой и говорящему с непринужденностью ребенка.

Мы собрались провести вечер на пляже. Я испугался, не будет ли ей холодно в таком легком наряде, но она сказала, что ей никогда не бывает холодно. Слова просто вскипали у нас на губах, так мы были счастливы. Притиснутые в битком набитом вагоне к самой кабине машиниста, мы почти касались друг друга лицами, пылающими в жарких лучахходящего солнца. Как непохож этот полет над крышами на мою унылую, одинокую, тревожную поездку к ее дому вос-

кресным утром! Возможно ли, чтобы жизнь так решительно меняла свой цвет за крохотный отрезок времени?

Опускающееся на западе жаркое солнце — какой символ радости и тепла! Оно греет наши сердца, озаряет наш разум, воспламеняет наши души. И ночью сохранится его тепло, оно будет сочиться из-под выгнутого горизонта, бросая вызов ночному холоду. В этом жарком сиянии я передал Маре свою рукопись. Я не мог найти более подходящего момента и более подходящего критика. Зачатое во мраке вручалось для крещения при свете дня. Выражение ее лица подействовало на меня так заразительно, что я ощутил себя посланцем, вручающим ей Благую Весть от самого Создателя. Мне не надо было выяснять ее мнение, все было написано на ее лице. Годами я хранил это воспоминание, и оно оживало передо мной в самые смутные минуты, когда, брошенный всеми, я метался взад и вперед в пустой мансарде посреди чужого города, перечитывал только что написанные страницы и старался вызвать перед мысленным взором лица будущих читателей с таким же, как у нее, выражением искренней любви и восхищения. Если меня спрашивают, представляю ли я себе, когда пишу, какого-то определенного читателя, вижу ли я его, я отвечаю, что не вижу ни одного. Но на самом деле передо мной встает образ огромной безликой толпы, в которой то тут, то там мне удастся поймать оживленное пониманием и сочувствием лицо; я чувствую, как постепенно накапливается в этой толпе теплая сердечность, однажды воплотившаяся передо мной в одном-единственном образе; я вижу, как ширится, накаляется и превращается во всепожирающее пламя это тепло. (Только тогда получает писатель должную награду, когда он встречает человека, обожженного тем же огнем, что раздувал он в часы одиночества. Добросовестная критика ничего не значит, ему подавай необузданную страсть, огонь ради огня.)

Когда ты пытаешься совершить нечто лежащее вне пределов этих возможностей, меньше всего рассчитывай на одобрение друзей. Друзья оказываются на высоте положения в минуты твоих крушений — по крайней мере, так было со мной. Тогда они исчезают совершенно или же превосходят самих

Миллер Г.

М 60 Сексус : роман / Генри Миллер ; пер. с англ. Е. Храмова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 576 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-13837-7

Генри Миллер — виднейший представитель экспериментального направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографического жанра. Скандальную славу принесла ему «Парижская трилогия» — «Тропик Рака», «Черная весна», «Тропик Козерога»; эти книги шли к широкому читателю десятилетиями, преодолевая судебные запреты и цензурные рогатки. Следующим по масштабности сочинением Миллера явилась трилогия «Распятие розы», открывает которую роман «Сексус» — исповедальная книга с лирическими, метафизическими и сюрреалистическими отступлениями об обществе, вечных ценностях, детстве, своей стране, Париже, путешествиях, женщинах и их отношениях с мужчинами. Герой Миллера готов на все, чтобы сделать свою любовь счастливой, не может он одного — расстаться со свободой.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ГЕНРИ МИЛЛЕР
СЕКСУС

Ответственный редактор Александр Гузман
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректоры Ксения Казак, Татьяна Брылева
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 25.10.2017. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 22,56. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-BAK-22832-01-R